
Морозный Рыбинск не разбудит
Евтерпу в кварцевом гробу —
и только даром горло студит
Архангельск, дующий в трубу.

У чукчей нет Анакреона,
зырянам хватит и Айги.
Но кто метрического звона
придаст стенаниям пурги?

Кто наш, хмельной от шири водной
и хищный от смешенья рас,
российский мрак порфирородный
вольёт в магический алмаз?

Напрасно ль северные реки
прекрасней всех паросских роз?..
Но вот путём из грязи в греки
скользит полозьями обоз.

Он «Рифмотворная Псалтири»
тоской нагружен и треской.
И раздвигает тьму всё шире
заря — багряною рукой.

Вспомним, Бозио, скифские тени
венецейско-тосканских обид:
луч сенинкой играет в тристене,
дремлет вилла, соломинка спит,
злая жизнь за заветным порогом
превращается в мраморный сон —
и собачьим упряжкам, пирогам
доверяет дочурок Аон.
Но давно источился и сломан
европейского века хребет,
и никчёмен бессолнечный гномон —
утонувший в снегах Мусагет.
В мраке гиперборейского рая
остроласковый лавр на виски
нам возложит и та, догорая,
только Бозио — муза Тоски.

Piazzetta

Не кошелёк, расшитый бисером,
набитый тяжкими дукатами, —
плывёт Сан Марко первым глиссером
к лагуне дугами покатыми,
из тьмы сверкающими сводами —
Язона золотой овчиною,
жемчужиной, рождённой водами, —
их пасмурной первопричиною...
Венеция, незабываемая,
храняемая в зенице, снящаяся...
Не знаю, причастимся ль раю мы,
но фотография слепящая
в лоханке площади полощется
и постепенно проявляется —
как плащаница; голубь плещется —
и тоже раю изумляется.

«Я заплачу!» — мне сказано было, когда
мы прощались (навек?).

Как вода, утекали во мрак поезда
(помнишь, что там изрёк этот грек —
Гераклит или Мельхиседек: навсегда!),
и на мокрой реснице мерцала звезда
(то ли капля дождя, то ли снег).

Что́ на свете вокзального дыма горчей
и жалчее клейма неудач,
и бессмысленней наших прощальных речей!..
Лишь зарёванных рельсов слепящий ручей,
как твои поцелуи, горяч ;
лишь бесплотная тень воспалённых ночей,
задыхаясь, мне шепчет: «Заплачь».

Я памятник воздвиг — едва ли ощутимый
для вкуса большинства и спеси единиц.
Живые сыновья, увидев этот мнимый
кумир, не прослезят взыскующих зениц.

И внуки никогда, а правнуки — подавно,
в урочищах страстей не вспомнят обо мне —
не ведая о том, сколь сладостно и славно
переплавлялась боль на стиховом огне.

Слух обо мне пройдет, как дождь проходит летний,
как с тополей летит их безнадёжный пух, —
отсылкой в словаре, недостоверной сплетней.
И незачем ему неволить чей-то слух.

Умру. И всё умрет. И гребень черепаший
Меркурию вернёт плешивый Аполлон.
И некому, поверь, с душой возиться нашей
и памятью о нас: нам имя — легион.

Капитолийский жрец, и род славян постылый,
и утлый рифмоплёт — всё игрища тщеты.
Но, муза, оцени — с какой паучьей силой
противилось перо величью пустоты.

Если вновь родиться — на Востоке,
у Аллаха зоркого в горсти.
Ночи там так жарки и жестоки,
что весёлых глаз не отвести.
И молиться лучше, скинув кеды:
не алтарь, не капище — но дом,
где тебя взрастили для победы
и для рая страстного потом.
Я любил бы улочек Багдада
путаное, пряное руно —
или стал бы юнгой у Синдбада,
записавшись в первое кино.
В снах моих меня манила б Мекка,
и зрачок чернила бы во мне.
Я узрел бы звезды Улугбека
и хромого хана на коне.
И тебя, тебя бы вновь увидел
где-нибудь в Ширазе золотом —
смуглой кожи самый нежный выдел
пролистал соскучившимся ртом...
Ядом вязь арабская сочится
и священной жизни правый бой —
стяг зелёный, реющий, как птица.
Верная погибель, но — с тобой!

Пароход

Огромный пароход уже наполнил дымом
угрюмый порт;
к каким-то Лиссабоном, Лимам
вот-вот он, отдудев, уйдет.

Уж в мятых канотье взбираются по трапу
и в шляпках те,
кто, показав язык картузному сатрапу,
чуть что – растают в пустоте.

Мне многие из них знакомы понаслышке —
всё высший свет;
и машет с крутизны приговоривший к вышке
себя завравшийся поэт.

Давай поторопись, всего одна минута —
и в путь, и в путь!
На этом корабле отыщется каюта
для нас уж как-нибудь.

И мимо островов Канарских и Азорских,
Бермуд, Багам
поедем, поплывём — не ради див заморских —
на пир, к богам.

Ни дар блистательный, ни честные старанья,
увы, плывущих не спасут —
нас небожители, как хищные пираньи,
сожрут, сожрут.

Пастернак смотрит на кремацию Маяковского

Что сталевар, сквозь слюдяное
окошко, с искоркой в глазу,
глядеть на всплески злого зноя
(как в летний день — на стрекозу),
слезу всамделишно роняя
от жара, бьющего в зрачки,
что ждёт бессмертье, твердо зная,
за адом огненной реки.

Ведь молибдена и вольфрама
добавит Сталин в эту сталь.
Жить нужно яростно и прямо,
и слепо вглядываясь вдаль.
Еще сыграют марш солдаты.
И в белом венчике из роз —
в непоправимый час расплаты —
причалит к берегу Христос.

Себастьян

Точно так же выгнутый навстречу
дрожи стрел, как луки — ей вослед,
шепчет: «Отче, муке не перечу:
Ты сильней страдаешь, Параклет».

С каждым мигом ближе злая стая.
(Не спасает логика, Зенон!)
Из души земной произрастая,
дух в зенит небесный устремлён.

Не стрела покоится, летая,
(как нелепо думал элеат) —
это просто Дева Пресвятая
обернула мученика в плат.

Он прозрачен, но при этом прочен.
А мгновенье длится сквозь века.
И святой стоит, сосредоточен, —
нам, минутным, видимый пока.

Вена. У Новой ратуши

Музыка бывает только в Вене.
Только в Вене царственной она
неподвластна порче и подмене.
Только в Вене музыка — Жена,

Дева, облачённая в свеченье,
в колыханье жаркое смычков.
Здесь ясней её предназначенье:
«Рай таков! — твердить нам. — Рай таков!»

...Или это море золотое
в белом и лазоревом цвету?..
Не решусь как будущий Никто я
перейти заветную черту.

Задержусь у ратуши с бокалом
мозельвейна. На большом панно —
оперные арии... Вокалом
этим всё, что знал, посрамлено!..

Безразлично мне, что дело к ночи,
что вокруг всё глуше и темней,
что до тьмы дорога всё короче...
Ночь поёт! И дело только в Ней...

Только в Вене бурной словно в вену
введена холодная игла,
чтоб душа Прекрасную Елену
из персти земной узреть смогла.

Романсеро

Безумная Барселона
с фонтанами на груди,
где строят дома наклонно,
и где растёт Гауди;

Валенсия — вроде вальса
над втопанной в твердь рекой
(о канувшем не печалься —
махни ему вслед рукой!);

гранатовая Гранада
в дурмане арабских зал,
куда круглоту квадрата
вписал император Карл;

откосов и дуг усилье,
собой изумивших мир, —
сервильнейшая Севилья,
клавирный Гвадалквивир;

стоарочная Кордова —
как соты во весь экран,
где храму мечеть основа
и в Библию вбит Коран;

в бреду иль на грани бреда,
как если б и вправду Грек
его начертал, — Толедо
в кольце торопливых рек; —

и нас приведёт дорога
в стучащий о мрамор плит,
в цветущий своим барокко,
в кишачий людьми Мадрид.

Вяземский

Объездил всю Европу, проедая
несметные богатства; исписал
стихами пуд бумаги. Дар Валдая —
и тот звенеть на станциях устал.

Съел тонну трюфлей, тысячью бутылок
шабли запив, а чреву — ничего.
Не избежал язвительных ухмылок:
де, граф лепил Безухова с него.

Прокипятит в игре полмиллиона,
сам признавался, в молодости. Но
одумался. Не верил непреклонно
поповским сказкам; знал, что там — темно.

Темно и страшно — как в голодных сёлах,
ему струивших солнечный оброк;
и сим воздастся... Мыслей невесёлых
в бюветах Пфальца утопить не смог.

...В каких теперь катается вселенных?
Бог весть! Родился, пожил и исчез...
Но сочинил десяток драгоценных,
хоть беспросветных, в старости «пиес».

С арабского

А.

Говорят, живёт ещё — в Каире,
пестуя свой страх...
Плеч и лядвий слаще в целом мире
не было. Аллах

милосерден, но мольбы бессильны
прежний рай вернуть.
Только сон земной да червь могильный
знают верный путь.

Невозможно самому Пророку
(Славимый, прости!)
до ему положенного сроку
возродиться во плоти.

Остаётся — как бы в назиданье
будущим векам —
возвести прекраснейшее зданье,
дивный храм

(даже лучше — в букве, а не в камне;
так верней),
дабы содрогнулись: как горька мне
жизнь в разлуке с ней —

с сумасшедшей молодостью нашей,
с красотой —
некогда журчавшей полной чашей,
а теперь пустой.

Вариант

Памяти Нико Гомелаури

Те, что умерли, нет, не сказали
ничего, а верней — не нашлись...
...только ночью на дымном вокзале —
как бы даль, уходящая в высь, —

относительность блика и мрака,
запах гари в пространстве стальном,
полувсхлип напоследок... Однако
всё понятно теперь в остальном.

«Так начинают»

Ей рано нравились романы...
Пушкин. «Евгений Онегин». Гл. 2

Раскрывается книга,
озаряется ночь —
мы с тобою, амиго,
очутиться не прочь
в «Наутилусе» Немо
посредине Бермуд...
О, фонема-морфема,
чтения сладостный труд!

Вроде Лариной Тани
(ах, какой звукоряд
в этой строчке!), в аркане
я запутаться рад —
в паутине сюжета...
Полыханье страстей —
что мерцанье просвета
в анфиладах затей.

С нами честное слово,
с нами верный роман —
для живого улова
нам открыт океан —
растворяются строки,
воплощаются сны —
мы вступаем, как боги,
в дебри дивной страны.

На загадочной карте
притаившийся крест.
Мы в пылу, мы в азарте,
направленье — зюйд-вест!
По компáсу, секстану
точно выверен путь...
Книгу пишут по плану.
Жизнь живут как-нибудь.

Не скажу им «прощайте»
на краю бытия —
фолиантам сладчайшим —
«до свиданья, друзья!»
Или Даль не расслышал
эту гулкую даль —
обещание свыше:
смерть — всего лишь деталь?